

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ВЯЗЬ

Книга 7

A detailed illustration of a soldier in a dark green military uniform with a red band on his cap, which features a red star. He is looking out a window with shattered glass. Outside, a cityscape is visible under a dark, overcast sky, with smoke rising from industrial chimneys and snow on the rooftops. The soldier is holding a blue and white patterned biscuit tin in his left hand and a single biscuit with a double-headed eagle emblem in his right hand. The scene is set in a winter environment, with snow on the soldier's shoulders and icicles hanging from the window frame.

**БИСКВИТНЫЙ
ВАЛЬС**

Мурат Карадениз

Мурат Карадениз

Бисквитный вальс

<https://litres.ru/74019904>

SelfPub; 2026

Аннотация

Ленинград, январь 1942 года. Блокада. Голод. На Никольском рынке находят мёртвым скупщика. В его руке — бисквитный пряник с двуглавым орлом. Рядом — чернильница Фаберже с цифрой 47, которую капитан НКВД Алексей Ухтомский видел в детстве на Ходынском поле. Тогда человек в кожаной куртке сказал: «Хлеб убивает быстрее пули».

Кто убивает свидетелей? Кто стоит за подпольной торговлей с немцами? Почему генерал Глухов так хочет заполучить чернильницу? Ухтомскому предстоит рискнуть жизнью в промёрзшем городе, чтобы раскрыть тайну из 1896 года.

Спустя восемьдесят лет правнучка Алексея, искусствовед Анна Ухтомская, находит в архиве дневники прадеда. Тайну, которую он не успел раскрыть, теперь предстоит разгадать ей. Но чем ближе Анна к правде, тем опаснее враги.

Блокадный Ленинград и современный Петербург, погони и обыски, шифры и банковская ячейка в Цюрихе — два времени, два расследования, одна цель: найти правду, которую так долго прятали.

Сможет ли Анна довести дело прадеда до конца?

Содержание

Пролог. «Ходынка»	4
Глава 1. «Труп на Никольском»	15
Глава 2. «Мастерская на Литейном»	23
Глава 3. «Вдова свидетеля»	33
Глава 4. «Старик из 1918-го»	41
Глава 5. «Трое суток»	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Бисквитный вальс

Пролог. «Ходынка»

Время: 18 мая 1896 года, 14:00

Место: Москва, Ходынское поле

1896 | Алексей Ухтомский (12 лет)

Отец сказал, что идти не стоит.

— Там будет давка, Алёша. Десятки тысяч людей. Ничего хорошего на таких праздниках не случается.

Но Алексей смотрел на отца такими глазами, что полковник Ухтомский сдался. Мальчик мечтал увидеть царя. Не самого императора — тот должен был появиться только завтра на Красном крыльце, — а саму коронацию: народные гуляния, песни, бесплатное угощение. И ещё кружку с вензелем Николая II, о которой говорили все мальчишки в гимназии.

— Только держись рядом, — сказал отец, натягивая шинель. — Не отходи ни на шаг.

Москва в мае 1896 года пахла сиренью и свежей краской. Дома мыли, белили, вешали флаги. Коронация молодого императора обещала стать праздником на весь мир. Алексей никогда не видел такого оживления: извозчики кричали, торговцы с лотков зазывали калачами и квасом, дамы в пёстрых платьях поправляли шляпки, господа в сюртуках кури-

ли папиросы, выпуская клубы дыма в солнечный воздух.

Отец держал его за плечо — крепко, по-военному. В сорок пять лет полковник Ухтомский был ещё бодр, хотя седина уже тронула виски. Алексей гордился отцом: офицер, участник русско-турецкой войны, кавалер ордена Святого Владимира, человек, которого уважали и сослуживцы, и начальство. И главное — отец разрешил пойти на Ходынку.

Они пришли на поле к часу дня. Солнце стояло в зените, жара была невыносимой, но толпа не рассеивалась — наоборот, с каждой минутой прибывала. Алексей не представлял, что здесь окажется столько людей. Казалось, вся Москва собралась на этом огромном пустыре за Тверской заставой. Тысячи. Десятки тысяч. Крестьяне в армяках, мещане в картузах, фабричные в замасленных рубахах, женщины в платках, дети на плечах у отцов. Пахло дешёвым табаком, потом, лошадиным навозом и ещё чем-то сладким — пряниками.

Пряники здесь раздавали бесплатно.

Тысячи пряников — эмалевые, с двуглавым орлом, с надписью: «На память коронации императора Николая II». И кружки — эмалевые, синие с золотом, с вензелем. И мешки с крупой, и колбасы, и орехи, и сладости. Царь не скупился. Народ должен был помнить этот день как день щедрости и милосердия.

Будки для раздачи выстроили в ряд, но народа было так много, что их просто снесло. Алексей видел, как мужик в рваном полушубке перелез через забор первым, схватил ме-

шок и заорал: «Наши! Наши дают!» Толпа хлынула вперёд, сметая всё на своём пути — ограждения, будки, людей, которые оказались слишком близко к эпицентру этого безумия.

Отец стиснул плечо сына сильнее.

— Назад, Алёша. Уходим.

Но было поздно.

Их втянуло в толпу, и Алексей вдруг понял, что не чувствует ног. Его несли, сжимали со всех сторон, отрывали от земли. Чей-то локоть врезался в рёбра, чья-то рука сдавила горло, чей-то сапог наступил на ногу — боль была острой, но он её почти не чувствовал, потому что страх заглушал всё. Он закричал, но крик утонул в рёве толпы — в этом зверином, низком гуле, который не слышит ничего, кроме собственной ярости и ужаса.

Визжали женщины. Плакали дети. Где-то справа кто-то молился в голос: «Господи, спаси и помилуй!» Слева — матерно ругался фабричный, проклиная и царя, и правительство, и свою жизнь. А впереди, в трёх шагах, Алексей увидел, как старик с белой бородой упал и больше не поднялся. Его топтали. Раз — чья-то нога в сапоге. Два — в опорке. Три — босая, грязная пятка, придавившая лицо, которое уже не могло кричать. Четыре, пять, десять — Алексей сбился со счёта, потому что закрыл глаза и зажмурился.

Отец исчез. Его шинель, его крепкая рука, его голос — всё растворилось в этой живой, дышащей, убивающей массе.

Алексей попытался кричать, но в горле пересохло, язык

прилип к нёбу, из груди вырвался только сиплый, тонкий звук — как у зайца, попавшего в капкан. Его несло куда-то, вертело, бросало из стороны в сторону. Он вцепился в чей-то рукав — тот вырвался. Упал на колени, чьи-то ботинки прошли в сантиметре от его пальцев — ещё чуть-чуть, и их бы раздавили. Кто-то подхватил его, поставил на ноги. Чей-то голос, хриплый, надрывный, кашляющий: «Держись, парень! Не отключайся!»

Он очутился у ограды. Металлические прутья врезались в спину, но это спасение — можно дышать, можно держаться, не дать себя снова утянуть в этот водоворот живых тел, который кружил, месил, перемалывал людей в труху. За оградой был ров, пустота, тишина. Алексей повис на прутьях, как на перекладине, и смотрел на поле сверху вниз.

Там, где ещё час назад толпа ликовала и пела, теперь была бойня.

Тела лежали в три слоя. Кто-то пытался встать, но его сбивали с ног, затапывали, добивали. Кто-то полз к выходу, волоча за собой вывихнутую ногу или сломанную руку. Кто-то уже не двигался, только глаза были открыты — мутные, пустые, уставившиеся в небо, которое равнодушно взирало на эту бойню. Глаза были разными — голубые, карие, серые, зелёные. Но выражение в них было одинаковым: недоумение. Люди не могли понять, как праздник превратился в смерть.

Алексей видел женщину с младенцем на руках. Младенец не плакал — он был мёртв, голова свешивалась под неесте-

ственным углом. Женщина не понимала этого, она продолжала его баюкать и что-то шептать, раскачиваясь вперёд-назад. Рядом с ней лежал мужчина с пробитой головой — её муж, отец ребёнка. Она смотрела на него, но не видела. Её глаза были пустыми, как у тех солдат в кожаных куртках, которых Алексей увидит через минуту.

Он увидел их за пять шагов.

Трое. В военной форме — не такой, как у отца, а другой, непривычной: кожаные куртки, высокие сапоги, фуражки с кокардами, какие носили при Временном правительстве, а теперь — при новой власти, о которой ещё никто толком не знал. У одного — винтовка, у другого — наган, третий держал в руках шкатулку, вырванную из рук убитого купца.

Купец лежал тут же, в двух шагах. Дорогой сюртук был разорван, карманы вывернуты, лицо — в грязи и крови. Кто-то уже успел его обобрать, но главное — шкатулку — унесли эти трое.

Шкатулка была открыта.

Внутри — не только пряники и кружки. Там лежало то, что не предназначалось для простых смертных. Чернильница. Маленькая, серебряная, с эмалью, с двуглавым орлом на крышке. И цифра 47, выбитая на боку — не номер, не дата, не шифр. Что-то, что Алексей запомнит на всю жизнь, сам не понимая почему. Просто запомнит — как лицо матери, как запах отцовского табака, как свой первый школьный звонок. Навсегда.

— Ланской, — сказал тот, что с наганом, поворачиваясь к третьему. — Грузи в телегу. И быстро. Скоро здесь будет комендатура, не хватало ещё, чтобы нас застукали с этим бахламом.

Тот, с винтовкой — Ланской — обернулся. Увидел Алексея, прижатого к ограде, замершего, с вытаращенными глазами и открытым ртом. На секунду их взгляды встретились. В глазах чекиста не было злобы. Не было страха. Не было ничего — только пустота. Пустота человека, который видел смерть так часто, что перестал замечать разницу между живым и мёртвым, между ребёнком и стариком, между своим и чужим. Для него все уже были мертвы.

Ланской подошёл к ограде. Наклонился. Алексей вжался в прутья, ожидая удара, выстрела, чего угодно — только не того, что произошло.

Чекист достал из шкатулки пряник. Бисквитный, с глазурью, с двуглавым орлом. Испачканный кровью — чужой, тёмной, уже засохшей, вьевшейся в глазурь. Сунул мальчику в руку.

— Ешь, парень, — сказал он спокойно, будто речь шла о погоде. — Голодным не помирать. И запомни: хлеб убивает быстрее пули. Запомни это на всю жизнь.

Он повернулся и пошёл к телеге, где уже ждали двое с мешками, набитыми царскими подарками. Шкатулка захлопнулась. Чернильница с цифрой 47 исчезла под брезентом. Лошадь всхрапнула, дёрнула, и телега покатилась к вы-

езду с поля — туда, где уже собирались полицейские, чиновники, люди в штатском с блокнотами. Они будут писать рапорты, составлять описи, прятать концы в воду, делать вид, что ничего не видели, не слышали, не знали.

Алексей стоял, сжимая в кулаке окровавленный пряник, и не мог пошевелиться. Пряник был липким, тёплым от его ладони, сладковатый запах смешивался с запахом крови и смерти. Толпа редела — люди разбегались, умирали, уползали, уносили раненых. Кто-то нёс на руках ребёнка с пробитой головой, прижимая к груди, будто это могло его спасти. Кто-то выл, стоя на коленях над трупом жены, раскачиваясь вперёд-назад, как маятник. Кто-то пил водку из горла, сидя на груди мёртвых тел, и смеялся — истерично, страшно, заходил в кашле и продолжал смеяться, потому что иначе надо было плакать.

— Алёша! — голос отца прорвался сквозь шум, сквозь стоны, сквозь гул толпы. — Алёша, ты жив?

Полковник Ухтомский выскочил из толпы, расталкивая людей плечами, не глядя на трупы, не обращая внимания на крики. Шинель была разорвана, лицо в грязи, под глазом — свежий синяк. Но он был жив. Схватил сына за плечи, прижал к себе так сильно, что Алексей услышал, как колотится сердце отца — часто, с перебоями, как у загнанной лошади.

— Жив, — прошептал Алексей. — Я жив.

— Слава Богу, — отец перекрестился широким крестом, потом взял его лицо в ладони, заставил смотреть в глаза. —

Ты видел что-то? Говори. Ты видел, кто это сделал?

Алексей не сказал про чернильницу. Не сказал про Ланского. Не назвал цифру 47. Только показал пряник — кровь уже засохла, превратилась в тёмную корку, въелась в глазурь, въелась в его память. Пряник был тяжёлым, хотя весил не больше ста граммов. Тяжесть этого пряника Алексей будет чувствовать всю жизнь.

— Он дал мне это. Сказал: «Хлеб убивает быстрее пули». И ещё: «Запомни это на всю жизнь».

Отец побледнел. Взял пряник, хотел выбросить, но Алексей выхватил его обратно.

— Не трогай. Это моё.

— Алёша, это не игрушка. Эти люди опасны. Если они запомнили твоё лицо...

— Они не запомнили. Им было всё равно. На меня они даже не смотрели.

Отец не стал спорить. Только покачал головой, вздохнул тяжело, по-стариковски — хотя ему было всего сорок пять — взял сына за руку и повёл прочь. С поля, через мост, по пустынным улицам, где из распахнутых окон доносились крики и плач. Москва оплакивала своих погибших. Цифры называли разные — тысяча, две тысячи, пять тысяч. Настоящую цифру никто никогда не узнает.

Император будет молиться на коленях перед матерью. Виновных не найдут. Никто не ответит.

Они шли долго. Алексей не чувствовал ног — они одере-

венели, налились свинцом. Только сжимал в кулаке пряник — тёплый от его ладони, липкий от крови, и думал о чернильнице с орлом и цифрой 47.

— Папа, — сказал он, когда они остановились у гостиницы, где сняли комнату. — Кто эти люди? В кожаных куртках?

Отец помолчал. Посмотрел на сына долгим, тяжелым взглядом — тем взглядом, которым смотрят на приговорённого, когда не могут ему помочь.

— Новая власть, — сказал он. — Те, кто теперь решает, кому жить, а кому умирать. Держись от них подальше, Алёша. И никогда не говори им правду. Даже если будут пытаться. Даже если будут угрожать. Даже если будут обещать золотые горы. Молчи.

— А чернильница? С орлом и цифрой 47?

— Не видел я никакой чернильницы. — Отец взял его за подбородок, заставил смотреть в глаза. — И ты не видел. Запомни. Никому не рассказывай. Никогда. Эти люди не прощают. Они убьют и тебя, и меня, и мать. И даже не вспомнят об этом на следующий день. Ясно?

— Ясно, — прошептал Алексей.

Но пряник он не выбросил.

Он сохранил его на всю жизнь — засушенный, завернутый в тряпицу, спрятанный в шкатулку вместе с самыми дорогими вещами. Как напоминание о том, что правда иногда страшнее лжи. И что люди, которые носят кожаные куртки и стреляют без суда, не уходят. Они остаются. Меняют форму,

имена, эпохи. Но остаются.

Алексей запомнил цифру 47.

Он не знал тогда, что она будет преследовать его всю жизнь. Что через сорок шесть лет, в блокадном Ленинграде, он снова увидит эту чернильницу — на столе убитого скупщика, в деле, которое заставят расследовать. Что он будет искать её в тайниках, в бункерах, в банковских ячейках. Что она окажется связана с браслетом княжны Анастасии, с заговорами, убийствами, с тайной, которая протянется через столетие.

Поезд уносил их из Москвы на следующий день. Алексей сидел у окна, прижимая к груди шкатулку с пряником, и смотрел, как за стеклом мелькают перелески, полустанки, крестьянские избы с чёрными провалами окон. Где-то там, позади, осталось Ходыньское поле — трупы, которые грузили в телеги как дрова, люди в кожаных куртках, делившие шкатулку с царскими подарками, и чернильница с цифрой 47, которая навсегда врезалась в память двенадцатилетнего мальчика.

— Ты запомнил их лица? — спросил отец, когда поезд отошёл от Москвы на полсотни вёрст.

— Да.

— Забудь. Не вспоминай. Такие люди не прощают, когда их помнят.

— А если они сами не забывают?

Отец не ответил. Только погладил его по голове — широ-

кой, тяжёлой ладонью, пахнувшей табаком и порохом. Алексей закрыл глаза и попытался уснуть. Не получилось. Перед глазами всё стояла чернильница — серебряная, с эмалью, с двуглавым орлом на крышке. И пряник — окровавленный, сладкий, с прилипшими крошками, которые он так и не попробовал.

Отец умер через два года — не от пули, не от голода, не от болезней, а от разрыва сердца в собственном кабинете, когда читал вечернюю газету. Врачи сказали: «перенапряжение». Алексей знал: отец надорвался, пытаясь защитить семью от новой власти, от доносчиков, от тех, кто стучал в дверь по ночам. Слишком много страха, слишком много лжи, слишком много унижений.

Пряник с Ходынки лежал в шкатулке.

Чернильница с цифрой 47 уплыла в неизвестность.

Ланской и Глухов — имена, которые Алексей запомнил навсегда.

Их встреча впереди.

Через сорок шесть лет.

В блокадном Ленинграде.

Глава 1. «Труп на Никольском»

Время: 15 января 1942 года, 09:00

Место: Ленинград, Никольский рынок

Блокада | Алексей Ухтомский

Звонок раздался в половине девятого, когда Алексей допивал второй стакан мутной воды, заменявшей чай, и пытался согреть замёрзшие пальцы о железную кружку. В комнате было минус двенадцать, дыхание превращалось в пар, одеяло, в которое он кутался по ночам, покрылось тонкой коркой льда от испарений. Дежурный по Смольному говорил отрывисто, как всегда, когда новости были плохими: «Труп на Никольском рынке. Срочный выезд. Ждём вас».

Алексей накинул шинель, застегнул все пуговицы — от горла до пояса, — сунул наган в карман и вышел в коридор. Коммуналка на Петроградской стороне спала тяжёлым, голодным сном. Из-за дверей доносились хрипы, кашель, редкие всхлипы. Кто-то молился — бормотал скороговоркой, как заклинание. Кто-то уже не молился, только дышал — тяжело, с присвистом, как будто каждым вдохом платил по счетам. За стеной, в комнате соседей, плакал ребёнок — тонко, надрывно, бесконечно. Мать успокаивала его шёпотом, но у неё не было сил даже на это.

На улице мороз кусал лицо, снег скрипел под ногами, и

редкие прохожие — те, у кого ещё были силы ходить, — кутались в платки и воротники, сливаясь с сугробами. Трамваи не ходили — не было электричества, — и Алексей двинулся пешком, сокращая путь через дворы и арки. Ленинград в январе сорок второго был городом-призраком. Дома с заколоченными окнами, горы снега на тротуарах, трупы, которые убирали по ночам, чтобы днём не пугать живых. На углу Невского и Садовой он увидел сани с тремя телами, укутанными в простыни, — кто-то вёз их в крематорий, а лошадь еле передвигала ноги, выдыхая облачка пара в морозный воздух.

Никольский рынок находился на Садовой, в двух шагах от Никольского собора, чьи тёмные купола возвышались над крышами, напоминая о довоенной жизни — о крестных ходах, о колокольном звоне, о вере, которую блокада не убила, но сильно пошатнула. До войны здесь торговали мясом, овощами, молоком. Теперь рынок стал подпольным — продавали хлеб по спекулятивным ценам, консервы, трофейную немецкую тушёнку, а иногда и вещи, которые можно было обменять на еду. Алексей знал о существовании этого места, но никогда здесь не был. Слишком много начальников закрывало глаза на подпольную торговлю — слишком многие сами покупали здесь то, чего не достать по карточкам.

У входа его встретил участковый — молодой лейтенант с испуганными глазами и трясущимися руками. Он явно не спал всю ночь: лицо бледное, под глазами синяки, на шинели

— пятна крови. Алексей поздоровался, назвал должность, показал удостоверение.

— Товарищ капитан, — лейтенант козырнул, голос его дрожал, — тело в торговых рядах, за третьей секцией. Женщина нашла, когда за водой пришла. Мы никого не трогали, только оцепили.

— Кто убит?

— Скупщик. Фёдор Березовский. Местные говорят, он здесь главный был. Все сделки через него шли. — Лейтенант перекрестился — не то от холода, не то от страха. — Хороший человек был. Никому не отказывал. Кто с голоду помирал — давал хлеб в долг. Кто не мог отдать — прощал.

— От чего умер?

— Не знаю. Вроде не дистрофия. У дистрофиков лица жёлтые, а у него розовое. Может, сердце? — Лейтенант пожал плечами. — Врач сказал — отравление.

— Что за врач?

— Фельдшер из поликлиники. Я вызвал по рации. Он пришёл, посмотрел, сказал — похоже на грибы. Сушёные, мол, в блокаду люди что угодно едят.

Алексей не стал гадать. Он прошёл в торговые ряды — крытый барак, где когда-то были прилавки, а теперь стояли шаткие столы и ящики, на которых разложили товар. Пахло махоркой, сыростью и ещё чем-то сладковатым, приторным — то ли гнилой крупой, то ли старым мёдом. Вдоль стен жаллись продавцы — худые, ободранные, с землистыми лицами,

с руками, которые дрожали не только от холода. Они смотрели на Алексея с опаской, но не расходились. Им нужно было продавать. Их дети ждали дома. Их жёны умирали без хлеба.

Тело лежало на грязном полу, между двумя столами. Мужчина лет пятидесяти, плотный, явно не блокадной худобы — при жизни он питался явно лучше, чем его голодающие покупатели. Лицо розовое, даже красное, губы синие, глаза открыты, смотрят в потолок, застывший в предсмертном удивлении. На груди — сложенные руки, будто его уложили специально, как в гробу. Алексей обратил внимание на пальцы — чисто выбритые ногти, дорогой перстень на безымянном пальце. Березовский был не из бедных. Таким на рынке делать нечего — значит, он здесь был не продавцом, а хозяином.

Главное — в правой руке он сжимал пряник.

Бисквитный, с глазурю, с двуглавым орлом — такие же раздавали на Ходынке в 1896 году. Алексей узнал его сразу. Он присел на корточки, не касаясь тела, и вгляделся. Глазурь потрескалась, бисквит почернел от времени, орёл выцвел, но форма сохранилась. Пряник выглядел так, будто его только что достали из шкатулки, а не пролежал сорок шесть лет в неизвестности. Алексей вспомнил тот день — запах крови, крики, давку. Вспомнил Ланского, который сунул ему в руку окровавленный пряник и сказал: «Хлеб убивает быстрее пули».

— Он его держал, когда его нашли? — спросил Алексей,

не оборачиваясь.

— Да, — ответил лейтенант. — Женщина сказала, что не трогала. Только пальцы разжала, чтобы посмотреть. Пряник так и остался в руке.

— Женщина? Где она?

— Увели в подсобку. Ждёт.

— Кто её опрашивал?

— Я. Сказала, что пришла за водой, а тут — труп. Не узнала его. Не знает, кто убил. Не видела никого.

— Проверить.

— Слушаюсь.

Рядом с телом, у правого бока, стояла чернильница. Маленькая, серебряная, с эмалью, с двуглавым орлом на крышке. И цифра 47, выбитая на боку — та же, что и на чернильнице с Ходынки. Та же работа, та же эмаль, тот же орёл. Но чище, новее — её, кажется, недавно чистили.

Алексей замер.

Он знал эту чернильницу. Видел её один раз в жизни — сорок шесть лет назад, на Ходынском поле, в руках у чекиста в кожаной куртке. Ланской. Человек, который дал ему пряник. Человек, который сказал: «Хлеб убивает быстрее пули». Чернильница была в шкатулке, которую они украли у убитого купца. Потом её следы затерялись — до сегодняшнего дня.

— Эту вещь никто не трогал? — Алексей поднял голову, посмотрел на лейтенанта.

— Никак нет. Фельдшер сказал, что не надо. Трогать ничего нельзя, пока не придет следователь.

— Я и есть следователь, — Алексей достал из кармана чистый носовой платок — единственный, который остался после войны, — наклонился и осторожно поднял чернильницу, держа её через ткань, чтобы не стереть отпечатки. Чернильница оказалась тяжёлой, наполненной — внутри что-то булькнуло.

— Тёмные чернила, — сказал он, поднося к свету. Лампы на рынке не было, но в щели между досками пробивался дневной свет, слабый, серый, зимний. — Или не чернила.

Он открыл крышку, понюхал. Запах был странным — сладковатым, миндальным. Профессор Морозов, с которым он встречался по делу о подпольной лаборатории на Лиговском, говорил: «Нюхайте чернила. Если миндаль — не трогайте голыми руками. Яд впитывается через кожу за тридцать секунд. Это танатотоксин. Рецепт утерян в семнадцатом году. Уцелел только у ювелиров Фаберже».

Алексей закрыл крышку, положил чернильницу в свой вещмешок — туда, где лежали блокнот, карандаш, запасная обойма для нагана и затёртая фотография отца в форме полковника царской армии.

— Труп в морг, — приказал он лейтенанту. — Полное вскрытие. Экспертиза содержимого желудка. Чернильницу забираю. Без подписи, без описи. Забудьте, что видели.

— Слушаюсь, — лейтенант козырнул, хотя в глазах чита-

лось недоумение.

— И пряник, — добавил Алексей. — Тоже в морг. В отдельный пакет. Не трогать руками.

— Товарищ капитан, это же улика?

— Это вещдок, — Алексей посмотрел на лейтенанта тяжело, устало. — Я всё оформлю в Смольном. Не волнуйтесь.

Он вышел из рынка.

Мороз кусал лицо, снег скрипел под ногами. Он закурил — папиросу из последней пачки, которую берег на чёрный день. Руки дрожали. Не от холода.

Сорок шесть лет. Он думал, что чернильница исчезла навсегда — вывезена за границу, переплавлена, продана на чёрном рынке, уничтожена временем. Но она была здесь. В блокадном Ленинграде. Рядом с трупом скупщика. С пряником, который мог быть тем самым — с Ходынки. Или его копией. Или подделкой. Или ключом к чему-то, о чём он пока не догадывался.

Алексей затаился, выпустил дым в морозный воздух. Папироса горела ровно, не гасла — табаку в блокаду хватало, в отличие от хлеба.

Он вспомнил лицо Ланского — пустые глаза, равнодушный голос, руки, которые не дрожали, когда он доставал пряник из шкатулки. И фразу, которую тот сказал: «Хлеб убивает быстрее пули». Пряник, испачканный кровью, который Алексей хранил в шкатулке сорок шесть лет, завёрнутый в тряпицу, спрятанный от чужих глаз. И теперь — второй пря-

ник, в руке убитого. Та же глазурь, тот же орёл, та же смерть.

Совпадение?

Алексей не верил в совпадения.

Он докурил, затушил папиросу о каблук сапога и зашагал к Смольному. Ветер дул в спину, подгонял, будто торопил. В голове крутились цифры, даты, имена — Ланской, Глухов, Кедрин, Гольдштейн, Забелина. Все они были связаны с чем-то, что он не мог объяснить. Все они умерли или были убиты. И теперь — Березовский.

В вещмешке лежала чернильница с цифрой 47. В голове — вопросы, на которые предстояло найти ответы. Кто убил Березовского? Откуда на рынке взялась чернильница, которую он видел последний раз в 1896 году? И что связывает её с браслетом Анастасии, поисками которого он занимался в прошлом году? Почему Глухов, который должен был уничтожить все следы, до сих пор жив и здоров? И кто тот человек, который стоял в тени Павильонного зала, когда Алексей прятал документы в часах «Павлин»?

Ниточка потянулась. С Ходынки — через революцию, гражданскую войну, репрессии, блокаду — до этого грязного рынка, где на грязном полу лежал человек с пряником в руке и чернильницей у бока. Цифра 47 преследовала его всю жизнь. Сорок шесть лет назад — первая встреча. Теперь — вторая.

Он знал: это только начало.

Глава 2. «Мастерская на Литейном»

Время: 16 января 1942 года, 11:00

Место: Ленинград, Литейный проспект, мастерская реставратора

Блокада | Алексей Ухтомский

Вдова Березовского, которую Алексей разыскал на следующий день в промёрзшей коммуналке на Мойке, была похожа на всех женщин блокадного Ленинграда: худая, бледная, с запавшими глазами и руками, которые дрожали от голода. Она сидела на кровати, укутавшись в старую шубу, и смотрела в одну точку — туда, где висел портрет мужа. Фёдор Березовский выглядел на фотографии совсем другим — толстым, жизнерадостным, с дорогими часами на руке и наглой улыбкой. Вдова не плакала. Слезы кончились ещё в декабре, когда хоронили дочь, умершую от дистрофии. Она умерла у неё на руках — сначала перестала дышать, потом открыла глаза, потом закрыла. Врач сказал: «Голод». И выписал справку. Больше никто не пришёл.

— Скажите, — Алексей сел на шаткий стул, стараясь не скрипеть, чтобы не разбудить соседей за тонкой перегородкой, — откуда ваш муж брал товар? Кто поставлял ему хлеб,

консервы, пряники?

Она посмотрела на него пустыми глазами, потом перевела взгляд на стену, где висела фотография дочери — девочки лет пятнадцати, с косами и бантом.

— Художник, — прошептала она. — С Литейного. Он давал товар. Фёдор продавал. А выручку делили — пятьдесят на пятьдесят.

— Какой художник? Имя, фамилия?

— Не знаю. Фёдор не говорил. Я не спрашивала. Наше дело бабье — молчать. Муж приносил хлеб — я варила суп. Муж приносил деньги — я покупала картошку. Всё, что нужно было знать, я знала. Остальное — не моё.

— Адрес?

— Литейный, дом 24, квартира 7. В подвале. Там мастерская. Я однажды ходила, передавала деньги. Он сидел там, рисовал что-то. Старый, бородатый, в халате, весь в краске. Пахло от него скипидаром и ещё чем-то сладким. Я тогда подумала — ладан. Как в церкви.

Алексей записал адрес в блокнот, потом спросил:

— Ещё что-нибудь о нём знаете? Может, он упоминал других людей? Покупателей? Заказчиков?

— Ничего, — вдова закрыла глаза. — И не хочу знать. Зачем мне знать, если Фёдора уже нет? А меня скоро тоже не будет. Война всё равно всех убьёт.

Алексей хотел сказать что-то ободряющее, но не нашёл слов. Он положил на тумбочку небольшую краюху хлеба —

свою дневную пайку — и вышел.

На улице он закурил, привалившись к стене дома. Мороз крепчал, ветер дул с Невы, и редкие прохожие попадались только у хлебных очередей. Литейный проспект — одна из главных магистралей Ленинграда, — сейчас был пуст и тих. Дома с заколоченными окнами, горы снега на тротуарах, и только редко проезжающие грузовики с затемнёнными фарами нарушали эту пустоту. Папиросный дым относило в сторону, смешиваясь с морозным паром изо рта.

Дом 24 оказался старым, дореволюционным, с облупившейся штукатуркой и лепниной на фасаде, которая напоминала о былой роскоши — о купцах, ювелирах, придворных поставщиках, которые когда-то жили здесь. Теперь — коммуналки, подвалы, мастерские. Стекла выбиты, двери не запираются, на стенах — чьи-то надписи углём: «Смерть фашистам», «Даёшь хлеб», «Оккупанты будут разбиты». Алексей спустился вниз по крутой лестнице, держась за ржавые перила, покрытые инеем. Ступеньки были скользкими от наледи, и он дважды едва не полетел кубарем.

Дверь в квартиру 7 была не заперта. Даже прикрыта неплотно — щель в палец. Алексей толкнул её плечом и вошёл.

Мастерская оказалась небольшой, метров двадцать, с высокими потолками и единственным окном, выходящим во

двор, где в снегу копошились какие-то люди — то ли жильцы, то ли мародёры, рывшиеся в мусорных баках. Вдоль стен стояли стеллажи с банками, кистями, тюбиками краски, кусками холста и старыми рамами. В углу — железная печка-буржуйка, остывшая, с прогоревшей дверцей, из которой торчали обгоревшие поленья. Посередине комнаты — массивный деревянный стол, заваленный бумагами и эскизами, засохшими палитрами и тряпками. На стульях — халаты, тряпки, палитры.

За столом сидел человек.

Мёртвый.

Алексей подошёл ближе, осмотрел его, не трогая. Мужчина лет пятидесяти-шестидесяти, с седой бородой, в замасленном халате, поверх которого намотан шерстяной платок. Голова опущена на грудь, глаза закрыты, руки сложены на столе — правая поверх левой, как у покойника в гробу. На первый взгляд — сердечный приступ. Таких в блокаду были тысячи. Люди падали на улицах, умирали за хлебом, в очередях, за работой, в постелях, на работе. Трупы убирали по ночам, чтобы днём не пугать живых.

Но Алексей понюхал воздух.

Запах. Сладковатый, миндальный. Тот же, что и в чернильнице Березовского. Тот же, что и в лаборатории Морозова, где профессор показывал ему образцы танатотоксина, показывал, как яд впитывается через кожу за тридцать секунд, как парализует дыхание, как оставляет синие пятна на

шее и лице.

Он наклонился, заглянул в лицо Когана — так, кажется, звали художника. Губы синие, почти чёрные, веки припухшие, на шее — странные пятна, похожие на ожоги, но без волдырей, без красноты. Не дистрофия. Не сердце. Яд.

Алексей выпрямился, оглядел стол.

На столе, в самом центре, на чистом листе бумаги, лежало письмо. Белый, почти не тронутый временем лист, сложенный вчетверо, без конверта. Он развернул его, держа за уголок, чтобы не стереть возможные отпечатки.

Текст был написан печатными буквами, аккуратно, каллиграфически — словно писавший боялся, что его почерк опознают. Подписи не было. Только инициалы в левом верхнем углу: «Л.С.».

«Григорий Моисеевич. Вы нарушили договор. Мы предупреждали. Очистить рынок от авантюристов. Чернильница — последнее предупреждение. Дальше будут другие меры. Л.С.»

Алексей перечитал три раза. Л.С. — те же инициалы, что и в старых делах, которые он просматривал в архиве. Л.С. — тот, кто стоял за Глуховым. Тот, кого он искал с начала войны и так и не нашёл. Тот, кто, возможно, был связан с браслетом Анастасии, с янтарной комнатой, с фарфором, с партитурой.

Он спрятал письмо во внутренний карман гимнастёрки, рядом с наганом и фотографией отца.

Из коридора донесся шум. Кто-то кашлял — сухо, над-
рывно, с присвистом, — топал, переругивался.

Алексей вышел из мастерской.

В коридоре стояли двое — мужчина и женщина. Мужчи-
на — лет сорока, в телогрейке и валенках, с испитым лицом
и красным носом, похожим на картофелину. Женщина —
помоложе, в платке и стёганой кофте, с руками, замотанны-
ми тряпками. Жили в соседней квартире, представились —
Пётр Петрович и Клавдия Ивановна.

— Вы из милиции? — спросил мужчина, заглядывая в
дверь. — А где Григорий Моисеевич?

— Мёртв, — ответил Алексей, не скрывая.

— Царство небесное, — женщина перекрестилась мелко,
быстро, как научили в детстве. — Хороший был человек. Ти-
хий. Работал много. Мы его почти не видели. Только слы-
шали, как он ходит по мастерской, переставляет банки, ино-
гда играет на скрипке. У него была скрипка, старая, итальян-
ская. Он на ней играл по ночам, когда не мог спать.

— Кто к нему приходил?

Пётр Петрович замялся, посмотрел на Клавдию Иванов-
ну. Та отвела глаза в сторону, начала теревить край платка.

— Вы не бойтесь, — сказал Алексей, стараясь говорить
мягко, но твёрдо. — Я из НКВД. Ваши имена нигде не по-
явятся. Ни в протоколах, ни в рапортах. Обещаю.

— Вчера вечером, — начал Пётр Петрович, понижая го-
лос до шёпота, чтобы не слышали соседи за стеной, — часов

в девять, заходил к нему человек. Высокий, седой, в кожанке. Лет под пятьдесят, а может, и больше. Шинель генеральская, с погонами. На руке — часы золотые. Сапоги начищены до блеска.

— Что делал?

— Постучал. Три раза коротких, потом два длинных. Григорий открыл. Человек сказал: «Есть разговор». Они закрылись. Минут двадцать говорили. Голосов не было слышно — только шёпот. Потом человек вышел. Бледный, злой, губы сжаты. Ушёл, даже не попрощался. Хлопнул дверью так, что стены задрожали.

— Вы видели его лицо?

— В темноте плохо, — Пётр Петрович пожал плечами, развёл руками. — Но запомнил: седой, брови густые, глаза злые. И родинка на правой щеке, вот здесь, — он показал на свою щёку, — под скулой.

— Глухов, — сказал Алексей. Не вопрос, утверждение. Он вспомнил фотографию Глухова в личном деле — родинка под правой скулой, седые брови, тяжёлый взгляд.

— Кто-кто? — не поняла Клавдия Ивановна, перекрестилась ещё раз.

— Неважно. Забудьте. Если кто-то будет спрашивать — вы ничего не видели, не слышали, не знаете. Иначе вас убьют.

Он вернулся в мастерскую, обошёл её ещё раз, заглядывая в каждый угол, за каждую банку, под каждую тряпку. В углу,

за стеллажом с кистями, стоял мольберт, на нём — неоконченная картина. Натюрморт: пряник, кружка, чернильница. Пряник — бисквитный, с орлом, с глазурью. Чернильница — с цифрой 47. Та самая. Коган рисовал её с натуры — или по памяти. Краски ещё не высохли, кисти лежали на полу, палитра была заляпана свежими мазками. Он работал перед смертью.

Алексей снял холст с мольберта, свернул в трубочку, сунул под мышку — пригодится для экспертизы. Может быть, художник оставил подсказку, шифр, ключ к разгадке. А может, просто рисовал то, что видел.

Он вышел в коридор. Соседи уже разошлись, попрятались по своим комнатам. В коридоре было тихо, только где-то сверху, на втором этаже, плакал ребёнок — тонко, надрывно, как вчера, как позавчера, как каждый день блокады. Мать убаюкивала его, пела что-то грустное, древнее, что пели ещё её бабушки.

Алексей закурил, прижавшись спиной к холодной стене, и зашагал к выходу.

В голове крутились вопросы. Почему Глухов — генерал НКВД — лично пришёл к реставратору? У него есть подчинённые, есть Глеб — наёмник, который выполняет грязную работу, убивает свидетелей, замечает следы. Почему Глухов не послал Глеба? Почему пришёл сам? Что такого важного было в этом разговоре, что генерал не доверил его подчинённым?

Или это был не Глухов? Может быть, кто-то другой — похожий, но не он? Высокий, седой, в кожанке — таких в Ленинграде десятки, если не сотни. Война, эвакуация, хаос. Каждый второй носит форму, каждый третий — кожанку. Но родинка на правой щеке — это деталь, которую трудно подделать.

Алексей дошёл до угла Литейного и Невского, остановился. Перед ним, у входа в Елисейский магазин, стояла очередь за хлебом. Люди — чёрные фигуры в платках и шинелях — жались друг к другу, переминались с ноги на ногу, дышали паром в морозном воздухе. Кто-то держал в руках карточки, кто-то — котелки и сумки. Дети плакали, женщины молчали, мужчины курили, не вынимая рук из карманов.

Алексей смотрел на них и думал о том, что Коган и Березовский — эти, казалось бы, случайные жертвы, — могли быть частью чего-то большего. Березовский торговал хлебом, но не от голода — от жадности. Коган рисовал картины, но не для души — для денег. Их убил один и тот же яд. Им угрожали одними и теми же словами: «Очистить рынок от авантюристов».

Кто заказывал эти убийства? Глухов? Но зачем генералу НКВД убивать скупщиков и реставраторов? Какая ему выгода? Может быть, он просто выполнял приказ. Чей? Л.С.?

Алексей докурил, затушил папиросу о каблук и зашагал к Лиговскому проспекту, где в подвале жил профессор Морозов. Нужно было проверить содержимое чернильницы и

пряника. Убедиться, что яд тот же. И понять, почему Глухов, который должен был уничтожить все следы, до сих пор не тронут. Почему он ходит в генеральских погонах, убивает свидетелей, а начальство смотрит сквозь пальцы.

В голове крутилось одно слово: Л.С.

Кто он? Почему его инициалы появляются там, где убивают людей, связанных с чернильницей? Что связывает его с Глуховым — начальником, покровителем, заказчиком? И как во всём этом замешан браслет Анастасии, который Алексей искал прошлой зимой?

Ниточка становилась всё тоньше. Но Алексей не собирался её рвать.

Глава 3. «Вдова свидетеля»

Время: 17 января 1942 года, 14:00

Место: Ленинград, коммуналка на Мойке

Блокада | Алексей Ухтомский

Антонина Березовская жила на Мойке, в доме с облупившейся штукатуркой и выбитыми окнами, которые были заколочены фанерой — кое-как, лишь бы ветер не выстудил комнату окончательно. Алексей поднимался по лестнице на третий этаж, держась за скользкие перила, переступая через мешки с песком и ящики, которыми жильцы пытались заделать дыры от осколков. В подъезде пахло мочой, махоркой и ещё чем-то сладковато-тошнотворным — тем самым запахом, который он научился узнавать за годы работы. Запахом смерти, которая поселилась здесь давно и не собиралась уходить.

Дверь в квартиру была приоткрыта. Он толкнул её, вошёл в длинный тёмный коридор, где на верёвках сушились тряпки, а на полу лежали матрасы — прямо в коридоре, потому что в комнатах уже не помещались все жильцы, точнее, те, кто ещё не умер. Кто-то кашлял за тонкой фанерной перегородкой, кто-то молился, кто-то просто лежал и смотрел в потолок, не имея сил даже повернуть голову.

Антонина Березовская сидела на кухне, в углу, на табуре-

те, привалившись спиной к стене. Ей было лет сорок, но выглядела она на все семьдесят. Лицо землистое, щёки впалые, глаза мутные, руки трясутся. На коленях — пустая миска и ложка, которую она не могла поднести ко рту. Рядом на столе — горбушка чёрного хлеба, нетронутая, лежала на тарелке уже, наверное, второй день.

— Антонина? — тихо позвал Алексей, садясь напротив на такой же шаткий табурет. — Я капитан Ухтомский. Мы говорили с вами вчера.

Она подняла голову, посмотрела на него долгим, тяжёлым взглядом. В её глазах не было ни удивления, ни страха, ни надежды. Только пустота — та же, что и у Когана на столе, только у живых.

— Помню, — прошептала она. — Вы про мужа спрашивали.

— Да. И про художника с Литейного.

— Коган. Григорий Коган. Я узнала, как его зовут. Соседи сказали. Его тоже убили, да?

— Убили, — не стал скрывать Алексей. — Вчера. Тем же ядом.

Антонина перекрестилась — мелко, быстро, одними пальцами.

— Царствие небесное. Он был хороший человек. Не заслужил.

— Никто не заслужил, — сказал Алексей. — Антонина, вы говорили, что муж спрятал что-то перед смертью. Где

это?

Она долго молчала. Смотрела в окно, за которым ничего не было видно — только серая пелена неба и стена соседнего дома, обгоревшая после бомбёжки. Потом медленно, с трудом, полезла за пазуху, достала маленький свёрток — старый носовой платок, завязанный узлом. Протянула Алексею.

— Вот. Фёдор сказал: «Если умру — отдай тому, кто будет спрашивать про чернильницу». Я не знала, кому отдавать. Думала, вы придёте. Или не вы. Или никто.

Алексей взял свёрток, осторожно развязал узел. Внутри лежало письмо — сложенный в несколько раз лист бумаги, исписанный карандашом, торопливо, с пропусками букв, как будто человек писал на коленке, в темноте, боясь, что его застанут.

Он развернул, прочитал.

«Григорию Когану. Чернильница у Ланского. Яд активирован. Жди указаний. 47. Березовский.»

Ни даты, ни подписи. Только фамилия внизу, как гарантия подлинности.

Алексей перечитал дважды. Ланской. Снова эта фамилия. Ланской-старший — чекист, укравший браслет Анастасии. Ланской-младший — перекупщик, торгующий краденым в Пскове, убитый немцами в 1942 году. Тот самый, чей отец работал на Глухова, а сам он продавал браслет немцам за золото и выезд. Теперь — чернильница у Ланского. Какого? Старшего уже нет в живых. Младший ещё жив? В январе

1942 года он ещё не расстрелян. Он в Пскове, у немцев, торгует антиквариатом, наживается на войне.

Значит, чернильница была у него. Или у его людей. Или у того, кто носит ту же фамилию.

Алексей спрятал письмо в карман, к вчерашней находке.

— Вы знаете, что значит «47»? — спросил он, глядя на Антонину.

— Нет, — она покачала головой. — Фёдор не говорил. Может, номер дела. Может, шифр. Может, ячейка в банке. Он любил цифры. Говорил, что цифры не врут. В отличие от людей.

— А «яд активирован»?

— Не знаю. — Она запнулась, потом добавила: — Фёдор боялся. Он говорил: «Если меня убьют — значит, яд сработал не на том, на ком надо». Я не поняла. Он не объяснил.

Алексей помолчал, собираясь с мыслями.

— Вы сказали, что за неделю до смерти муж встречался с военным. В кожанке. Высокий, седой. Расскажите об этом.

Антонина закрыла глаза, будто пыталась вспомнить что-то важное, но очень тяжёлое.

— Это было вечером. Дней за семь до того, как Фёдора убили. Он собрался, сказал: «У меня встреча. Жди, не ложись». И ушёл. Вернулся поздно, часа в два ночи. Я не спала, ждала. Он был бледный, руки дрожали. Я спросила: «Что случилось?» Он сказал: «Ничего. Работа». И лёг спать. А утром, когда вставал, прошептал: «Если умру — передай

сверток».

— Вы видели этого военного? Может, он заходил к вам домой?

— Нет. Фёдор не приводил его. Сказал только, что он важный. Очень важный. С генеральскими погонами. И что он обещал зерно. Много зерна. Целую машину. В обмен на услугу.

— Какую услугу?

— Фёдор должен был передать чернильницу «немецкому связному». Я не знаю кому. Не знаю где. Не знаю когда. Он не говорил. Только сказал: «Если передам — будем с хлебом на всю войну». А не успел. Умер.

— Этот военный — он приходил к Когану? Накануне его смерти?

— Не знаю, — Антонина открыла глаза. — Может, приходил. Может, нет. Я не следила. Мне бы себя прокормить.

Она замолчала. Алексей понимал — больше она ничего не скажет. Силы кончились. Голос садился, дыхание становилось хриплым.

Он достал из кармана кусок хлеба — свой паёк на сегодня, — положил на стол рядом с нетронутой горбушкой.

— Это вам. Ешьте.

— А вы? — она посмотрела на хлеб, потом на него.

— Я поем в Смольном.

Он не сказал, что в Смольном уже неделю не дают горячей еды. Что он живёт на одной баланде из столярного клея и

редких сухарей, которые удаётся выменять на папиросы. Что сам еле держится на ногах.

— Спасибо, — прошептала Антонина, пряча хлеб за пазуху. — Дай вам Бог здоровья.

— Не нужно мне Бога, — Алексей поднялся. — Мне нужна правда.

Он вышел в коридор. На лестнице, привалившись к стене, курил сосед — пожилой мужчина в телогрейке, с лицом, изъеденным оспой.

— Слышал, — сказал он, не глядя на Алексея. — Вы про чернильницу спрашивали.

— Что вы знаете?

— Фёдор не просто скупщик был. Он на Глухова работал. Того самого, генерала. Я видел, как они встречались. Два раза. Вон там, во дворе. — он кивнул в сторону окна на лестничной клетке. — Глухов приезжал на машине. Шофёр ждал. Они говорили недолго. Потом Глухов уезжал. А Фёдор возвращался бледный, как смерть.

— Когда это было?

— Месяц назад. Может, два. Я не помню. Время сейчас текучее.

— Вы узнаете Глухова, если увидите?

— Узнаю. Таких лиц не забывают.

Алексей записал адрес соседа — на всякий случай, если понадобится свидетель.

— Спасибо.

— Не за что, — сосед затынулся, выпустил дым. — Только он опасный человек. Глухов. Если узнает, что я говорил — убьёт.

— Не узнает, — сказал Алексей. — Я не скажу.

Он вышел на улицу. Мороз кусал лицо, снег скрипел под ногами.

В голове складывалась картина. Чернильница — не просто орудие убийства. Это предмет сделки между Глуховым и немцами. Глухов даёт чернильницу Ланскому, Ланской передаёт её немцам через связного. Березовский и Коган — посредники, пешки, которые знали слишком много. Их убрали, чтобы замести следы.

Но кто убил Когана? Если Глухов приходил к нему накануне — значит, он проверял, выполнил ли художник его поручение. Или, наоборот, требовал, чтобы Коган молчал. А когда Коган отказался — Глухов приказал убить его. Или убил сам.

Алексей знал: Глухов не убивает лично. У него есть люди. Глеб — наёмник, который работал в Ленинграде с начала блокады. Именно Глеб, скорее всего, задушил Кедрина, отравил мадам Веру, избил Забелину. Глеб и Коган. А потом Глеб и Березовский.

Значит, Глеб должен быть где-то рядом. В Ленинграде. Или в Пскове, у Ланского.

Алексей зашагал к Смольному. В кармане лежали два письма — от Березовского к Когану и от Л.С. к Когану. В

голове — имена: Глухов, Ланской, Глеб, Л.С.

Он знал: теперь у него есть не только чернильница, но и ниточка к заказчику.

Чернильница у Ланского. Яд активирован. Жди указаний.

Л.С. очищает рынок от авантюристов. Чернильница — последнее предупреждение.

Две фразы, два письма. Одно — от Березовского к Когану. Второе — от Л.С. к Когану. Коган был связующим звеном между Березовским и Л.С. А Березовский — между Коганом и Ланским.

Цепочка: Березовский — Коган — Л.С. — Глухов — Ланской — немцы.

И в центре — чернильница с цифрой 47.

Алексей ускорил шаг.

Глава 4. «Старик из 1918-го»

Время: 18 января 1942 года, 20:00

Место: Ленинград, подвал на Васильевском

Блокада | Алексей Ухтомский

Алексей вернулся в свою коммуналку на Петроградской стороне затемно, когда фонари уже не горели — электричество давали только в Смольном и военных учреждениях, — и единственным источником света была коптилка, которую он соорудил из гильзы и фитиля. Масла в плошке оставалось на час, не больше. Он сидел за столом, разложив перед собой два письма — от Березовского к Когану и от Л.С. к Когану, — и пытался понять, что связывает эти клочки бумаги с чернильницей, которую он изъясил на рынке. Рукописный текст прыгал перед глазами — не от усталости, от голода. Он не ел со вчерашнего дня, отдал свой паёк вдове Березовского, а в столовой для сотрудников НКВД уже третьи сутки давали только баланду из столярного клея и кипятка.

В дверь постучали в девятом часу.

Три коротких, пауза, два длинных, пауза, один.

Алексей положил руку на наган, висевший на спинке стула. Стук был незнакомым — не соседи, не дежурный, не свои.

— Кто там?

— Откройте, капитан. Разговор есть.

Голос старый, хриплый, с одышкой. Алексей подошёл к двери, приоткрыл на щель, держа наган за спиной.

На пороге стоял старик. Лет семидесяти, а может, и восьмидесяти, с костылём в правой руке и кожаной сумкой через плечо. Лицо морщинистое, как печёное яблоко, глаза выцветшие, голубые, с красными прожилками. На нём — старая шинель, перешитая из царской, с нашивками, которых Алексей не узнал, и шапка-ушанка, надвинутая на брови. Из-под шапки торчали седые космы.

— Вы кто?

— Пустите, не на морозе же разговаривать. — Старик кашлянул, вытер губы рукавом. — Я не враг. Я свидетель.

Алексей отступил, пропуская его внутрь. Старик вошёл, огляделся, кряхтя опустился на табурет у стола. Костыль прислонил к стене. Сумку положил на колени.

— Кедрин, — сказал он, не дожидаясь вопроса. — Илья Кедрин. Я был в Екатеринбурге в 1918 году. В доме Ипатьева. Охранял.

Алексей сел напротив, не выпуская нагана из-под стола.

— Вы тот самый Кедрин? Оценщик? Которого убили в Эрмитаже?

— Нет, — старик усмехнулся, обнажив жёлтые зубы. — Тот Кедрин — мой племянник. Мы тёзки. Его убили, потому что он знал про чернильницу. Меня пока не убили. Но, видимо, скоро. Поэтому я здесь.

— Почему вы пришли ко мне?

— Потому что вы единственный, кто ищет правду. Остальные либо молчат, либо мёртвы. — Кедрин закашлялся снова, долго, надрывно, сплюнул в тряпку, которую достал из кармана. — Я видел, как Ланской-отец прятал чернильницу в свой вещмешок. Не браслет Анастасии — браслет вы и так знаете. Чернильницу. Ту самую, с цифрой 47. Она была в шкатулке с царскими подарками. Ланской вытащил её, сунул в вещмешок, а наверх положил пряники и кружки. Чтобы никто не заметил.

— Зачем ему чернильница?

— Он работал на немцев. Ещё в Первую мировую. Передавал им секретные сведения. А чернильница — это подарок Вильгельму II. Император Николай заказал её для германского кайзера, но не успел отправить — война помешала. Ланской хотел закончить дело. Довезти чернильницу до немцев. Получить награду.

— Не довёз?

— Не успел. Революция, гражданская война. Чернильница застряла в Петрограде, потом в Москве, потом снова в Ленинграде. А потом её нашёл Глухов.

— Глухов? — Алексей напрягся. — Он знал про чернильницу?

— Он сам её искал. — Кедрин понизил голос до шёпота. — Глухов — ставленник немцев. Он работал на них ещё в тридцатых, поставлял зерно в обмен на золото. Через Лан-

ского-старшего. А когда Ланской умер, Глухов стал работать с его сыном. Михаилом. Тем самым, который сейчас в Пскове.

— И чернильница у Михаила?

— Была. Он продал её немцам в 1940 году. Через Глеба. Вы знаете Глеба?

Алексей кивнул. Он знал Глеба. Наёмник, убийца, человек, который перерезал горло Кедрину-оценщику, задушил мадам Веру, избил Забелину. Тень, которая преследовала его с начала войны.

— Глеб получил чернильницу от Ланского-младшего, перевёз её через границу, передал немецкому связному. А взамен Ланской получил гарантии вывоза семьи. Деньги, документы, обещание убежища в Германии. — Кедрин вздохнул. — Но Глухов не получил ничего. Он хотел чернильницу для себя, чтобы торговать с немцами напрямую. А Ланской его обманул. Передал её через Глеба, минуя Глухова. Поэтому Глухов приказал убить Ланского. В Риге, в 1942 году.

— Вы знаете дату сделки?

— Октябрь 1940 года. Точного дня не помню. Но помню, что было холодно, шёл снег. Глеб и Ланской встречались в Пскове, на квартире у художника. У Когана.

— У Когана? — Алексей замер. — Реставратора, которого убили вчера?

— Его самого. Коган был связным. Он принимал чернильницу, переупаковывал, передавал дальше. Поэтому его

и убили. Знал слишком много.

Алексей откинулся на спинку стула. Картина складывалась.

— Вы сказали, что мой отец погиб не случайно. Что вы имеете в виду?

Кедрин посмотрел на него долгим, тяжёлым взглядом.

— Ваш отец, полковник Ухтомский, знал про чернильницу. Он был в комиссии по описи ценностей в 1918 году. Видел её. Опознал. И начал своё расследование. Глухов узнал — и приказал убрать его. Яд. Инсценировка сердечного приступа. Вы же сами читали акт вскрытия.

— Откуда вы знаете?

— Я был в той комиссии. Я видел, как Глухов подписывал бумаги. Как ввали в заключение. Как хоронили вашего отца в закрытом гробу, чтобы никто не увидел синих пятен на шее. — Кедрин сглотнул, провёл ладонью по лицу. — Я молчал тридцать лет. Боялся. Но теперь — старый, больной, всё равно скоро умру. Хочу, чтобы правда вышла наружу.

Алексей сидел, не двигаясь. В голове гудело. Отец — не сердце. Яд. Глухов.

— Зачем вы мне это говорите?

— Чтобы вы знали. И чтобы остерегались. Глухов не остановится. Он убьёт и вас, и вашу семью, и всех, кто встанет на его пути. Чернильница — его навязчивая идея. Он хочет получить её любой ценой.

— Чернильница у немцев. Он не получит.

— Получит, — Кедрин покачал головой. — У него есть люди в Германии. В Берлине, в Кёнигсберге, в Риге. Он договорится. Или украдёт. Или убьёт. Но чернильница будет у него.

— Тогда зачем он убивает свидетелей? Березовского, Когана? Если чернильница не у них?

— Чтобы замести следы. Чтобы никто не узнал, что он — заказчик. Чтобы его связь с немцами не всплыла. — Кедрин тяжело поднялся, опираясь на костыль. — Мне пора. Меня могут искать.

— Куда вы пойдёте?

— Туда же, откуда пришёл. В подвал на Васильевском. Там меня не найдут.

— Я хочу проверить ваши слова. Есть у вас доказательство?

Кедрин остановился в дверях, обернулся.

— Доказательства? — усмехнулся он. — Я — доказательство. Живой свидетель. Пока живой.

Он ушёл, не прощаясь.

Алексей не спал всю ночь.

Утром, в десятом часу, в дверь постучал дежурный.

— Товарищ капитан, там это... труп. В подвале на Васильевском. Старик с костылём. Сердце, говорят.

Алексей оделся, не завтракая, и побежал по морозу через

весь город.

Подвал был тёмным, сырым, пахло плесенью и мочой. Старик лежал на матрасе, накинув шинель поверх одеяла. Лицо спокойное, глаза закрыты, руки сложены на груди. Рядом на ящике — пустая кружка и огарок свечи. Костыль прислонён к стене.

Врач — молодой фельдшер из поликлиники — уже был на месте.

— Дистрофия, сердце, — сказал он, пожимая плечами. — Таких сейчас много.

— Вы вскрытие делали?

— Зачем? Смерть очевидна.

— Сделайте, — приказал Алексей. — Лично. И пришлите мне акт.

Он наклонился над телом, заглянул под воротник шинели.

На шее — пятна. Синие, почти чёрные. Такие же, как у Когана. Такие же, как у Березовского.

Не сердце. Яд.

Алексей обыскал карманы. В правом, внутреннем, — сложенный клочок бумаги.

Он развернул.

«Спроси у Глухова про зерно 1937-го».

Та же бумага, тот же почерк, что и на письмах. Тот же Л.С.?

Или сам Кедрин написал перед смертью?

Алексей спрятал записку в карман.

Глухов убил его отца. Убил Кедрина. Убил Березовского, Когана, мадам Веру, Забелину. Убьёт и его, если не успеет.

Он вышел на улицу. Мороз кусал лицо, ветер дул в спину.

Зерно 1937-го. Что это значит? Поставки голодающим? Обмен на золото? Сделка с немцами?

Алексей зашагал к Смольному. К Глухову.

Глава 5. «Трое суток»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.